



ВАСИЛИЙ ЗУБАКИН  
**ЖЕСТЯНОЙ**  
**ПОЖАРНЫЙ**

[HTTP://WWW.YAEYOTA.RU](http://www.yaeyota.ru)

# Василий Александрович Зубакин

## Жестяной пожарный

### Серия «Диалог (Время)»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=58143266](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=58143266)*

*Жестяной пожарный : роман / Василий Александрович Зубакин:  
«Время»; Москва; 2020  
ISBN 978-5-9691-2017-4*

### Аннотация

Василий Зубакин написал авантюрный роман о жизни ровесника XX века барона д'Астье – аристократа из высшего парижского света, поэта-декадента, наркомана, ловеласа, флотского офицера, героя-подпольщика, одного из руководителей Французского Сопротивления, а потом – участника глобальной борьбы за мир и даже лауреата международной Ленинской премии. «В его квартире висят портреты его предков; почти все они были министрами внутренних дел: кто у Наполеона, кто у Луи-Филиппа... Генерал де Голль назначил д'Астье министром внутренних дел. Министром он, однако, был недолго: война была уже выиграна, и копье Дон Кихота было не по сезону» (Илья Эренбург). Кем был на самом деле этот многоликий человек, которого так высоко ценили Черчилль, де Голль и Хрущев? благородным рыцарем, искателем острых ощущений, мечтателем, агентом КГБ? Почему

дочь Леонида Красина доверяла ему во всем, а дочь Иосифа Сталина – нет? И какова судьба загадочной книги о Сталине, которую якобы начал писать Эммануэль д'Астье?

# Содержание

От автора	7
Вместо предисловия	9
1. Вид с пожарной лестницы	12
2. Время соблазнов и искушений	26
3. Мир моря	40
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Василий Зубакин

## Жестяной пожарный

*Художественное электронное издание*

Художественное оформление

Валерий Калныныш

В оформлении использована графическая работа Юрия Анненкова

Редактор *Наталья Рагозина*

Художественный редактор *Валерий Калныныш*

Верстка *Оксана Куракина*

Корректор *Татьяна Трушкина*

© В. А. Зубакин, 2020

© Оформление, «Время», 2020





G. A.  
1927

# От автора

Как многое в жизни, этот роман – результат цепочки случайных событий. Четыре года назад я увидел в Антибе скромный обелиск на берегу моря и на нем – мемориальную доску, посвященную какой-то британской подводной лодке. Прогуглив название этой лодки – «Unbroken», я с удивлением узнал, что в 1944 году она стала советской подводной лодкой «В-2» и успешно воевала на Северном флоте. Правда, в момент передачи лодки в Шотландии ее командир капитан-лейтенант Панов почему-то попытался совершить самоубийство... Я стал все больше и больше «копать» про эту подводную лодку и наконец решился написать книгу – о ее капитанах и пассажирах, а также о тех, кто решал их судьбы в годы войны и мира, в том числе о Черчилле, Сталине и де Голле. Среди пассажиров этой лодки самым знаменитым был барон Эммануэль д'Астье де ла Вижери – человек интереснейшей судьбы, тесно связанный с Россией и вместе с тем малоизвестный у нас. Сначала я опубликовал о нем статью в газете «Совершенно секретно», а потом созрела идея написать роман. В процессе расшифровки многих тайн и загадок, связанных с бароном д'Астье, пришлось покопаться в архивах и фондах музеев, побывать во многих уголках Франции, а самое главное – воспользоваться помощью множества прекрасных людей.

Вот совсем неполный список тех, кто причастен к написанию этой книги: Жоффруа д'Астье де ла Вижери (Франция), Алексей Богомолов, Дмитрий Быков, Александр Васильев, Рене Герра (Франция), Екатерина Глаголева, Николай Кононов, Александр Перов, Томас Рабино (Франция), Борис Фрезинский, Александра Шувалофф (Франция), Жан-Кристоф Эмменеггер (Швейцария). Но самая большая благодарность – моей семье, близким друзьям и коллегам, которые помогали разбираться с незнакомым мне французским языком и вообще терпели все эти годы мое странное увлечение судьбой таинственного барона д'Астье де ла Вижери.

Ну а в заключение могу предложить читателю послушать две песни, непосредственно связанные с моим героем. Их легко найти в интернете, набрав в поисковике Leonard Cohen. The Partisan и Joan Baez. Luba The Baroness.

Первую написал Эммануэль д'Астье в 1943 году, она поется на десятке языков по всему миру.

Вторую – о семье Эммануэля – написала Джоан Баэз в 1967 году.

## Вместо предисловия

В толковом русском словаре сказано о дилетанте: «Человек, занимающийся наукой или искусством без специальной подготовки; имеющий только поверхностное знакомство с какой-нибудь областью знаний». Французский словарь дает несколько другое определение: «Страстный любитель искусства, который им занимается в качестве любителя». Выходит, что дилетант – это самозванец, вторгшийся в ту область, где он полуневежда или, в лучшем случае, участник кружка художественной самодеятельности.

А по-моему, Стендаль был гениальным дилетантом. Кто скажет, что у него были поверхностные знания в политике, в экономике, в искусствоведении или что его романы написаны по-любительски? Дилетант – это человек, для которого страсть не означает профессию. Для меня Эммануэль д'Астье прекрасный пример дилетанта в положительном смысле этого слова.

Он был одним из руководителей Сопротивления во Франции в годы войны, не будучи профессиональным революционером. Он стал министром первого временного правительства, не будучи профессиональным государственным деятелем. В течение долгого времени он был депутатом Национального собрания, не являясь профессиональным политиком. Он – редактор и вдохновитель одной из самых круп-

ных газет Франции, хотя и не принадлежит к профессиональным журналистам. Он – автор нескольких книг, обладающих большими литературными достоинствами и блистательно написанных, но он не профессиональный писатель.

У д'Астье много вдохновения, много различных страстей и разнообразных способностей, он, пожалуй, слишком человек, чтобы стать профессионалом в одной области.

У него очень длинное имя: Эммануэль д'Астье де ла Вижери. Но сам он еще длиннее своего имени. Когда я вхожу в большой зал, где много народу, я его сразу вижу: он торчит надо всеми. (Хотя он и сутулится – он долго был морским офицером и привык ходить сгорбившись, чтобы не разбить голову в низеньких каютах.) С виду он больше всего похож на Дон Кихота. Мне обидно, что я ни разу не видел его на Ро-синанте. Зато много раз я видел, как он вдохновенно штурмовал ветряные мельницы.

Как я сказал, он служил во флоте, много бродяжил по свету, писал книги, восхищался Рембо, Аполлинером, Лотреамоном. Потом последовали война, разгром, оккупация Франции; и здесь родился второй д'Астье, вернее Бернар, руководитель боевой организации «Освобождение». Этот чрезвычайно мягкий, рассеянный человек, любящий книги, размышления, безделье, вдруг оказался не только смелым, но и чрезвычайно энергичным. Его имя связано с освобождением Франции.

Эммануэль д'Астье де ля Вижери – один из последних

представителей старой французской аристократии. В его квартире висят портреты его предков; почти все они были министрами внутренних дел; кто у Наполеона, кто у Луи-Филиппа. По странной игре судьбы генерал де Голль, когда он возглавлял правительство «Сражающейся Франции», назначил д'Астье министром внутренних дел. Министром он, однако, был недолго: он хотел, чтобы правительство оперлось на народ, в первую очередь на рабочих; а война была уже выиграна, и копье Дон Кихота было не по сезону...

*И. Г. Эренбург*

*(из предисловия к книге: Эммануэль д'Астье. Семь раз по семь дней. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961)*

# 1. Вид с пожарной лестницы

Рауль Эммануэль д'Астье де ла Вижери – так меня зовут. Это мое родовое имя, я получил его по рождении на белый свет при полном согласии родителей – барона Рауля д'Астье де ла Вижери и графини Жанны Марии Амелии Франсуазы Масон-Вашасон де Монталиве. Это случилось 6 января 1900 года в Париже на улице Бом Шестнадцатого городского округа. Я, таким образом, являюсь сверстником моего двадцатого века, и в этом, возможно, что-то есть.

Нет нужды говорить, что в моих жилах течет голубая, почти синяя кровь высокородного французского дворянства. Я налит этой драгоценной сапфировой кровью по самую макушку, по самый верх моего почти двухметрового роста. Это редкое синекровье служит как бы стеной между островком виконтов-графов-баронов и морем краснокровных простолудинов, окружающих нас со всех сторон и подступающих вплотную... Зачастую битые молю чиновники, базарные торговцы и даже цирковые атлеты, виртуозно подбрасывающие на манеже картонные гири, смотрят на нас с искренним смущением, а нередко и с завистью – словно бы за нашей спиной растут крылья и мы способны летать наперегонки с птицами небесными. Кое-кто из обитателей заповедного островка, как и встарь, поглядывает на обитателей дольного мира свысока, но таких, к счастью, с каждым днем становится

все меньше и меньше: мрут неостановимо да и условия бытия хотя и неуверенно, но изменяются. Средневековые европейские манеры мигрировали в карикатурные королевства Центральной Африки с их специфическими гастрономическими склонностями и своеобразным пониманием основополагающей триады «свобода, равенство, братство», пустили там корни и прижились.

А мы? А я? Восьмой ребенок в семье консервативного педанта-отца и бессловесной мамы, целовавшей меня изредка и втайне от строгого отца – монархиста-артиллериста, я, сколько себя помню, старательно сдерживал в сухой атмосфере родового поместья Ранси всплески эмоций неусидчивой натуры: эмоциональные проявления были строго-настрого запрещены под крышей нашего замка с пристроенной к нему каменной часовней. Папá, более всего в жизни почитавший порядок, в молитве видел не благотворное очищение души от вредных наносов, а закрепляющее средство для неукоснительного соблюдения правил; и наша часовня не пустовала.

Игрушками я, разумеется, не был избалован. Не помню, водились ли они у меня вообще – эти деревянные лошадки, тряпичные собачки с кошками, даже оловянные солдатики с пушечками. Единственное, что сохранила моя память об аксессуарах того нежного возраста, это жестяная пожарная машинка с лестницей, по которой в самое сердце огня карабкается отважный пожарный. День шел за днем, пожарный

все карабкался, а пожар все не отступал. Упорство борца с огнем вызывало во мне восхищение – я хотел быть похожим на этого одинокого смельчака, и даже сейчас, на излете моих земных дней, я мечтаю примерно о том же.

Начав читать, я узнал, как зовут моего пожарного: это был капрал Тибо, спасший однажды десять человек в Париже на улице Сент-Антуан. Сам император Наполеон III вручил храбрецу орден Почетного легиона! Я смотрел на бравого красавца из книжки и думал: неужели и мне доведется совершать подвиги и получать награды?

О подвигах была и вторая моя любимая в детстве книжка – «Алый Первоцвет». Под этим романтическим псевдонимом скрывался благородный английский дворянин, который в годы Великой революции спасал от республиканской гильотины французских аристократов – может быть, моих предков! В будничной ежедневной жизни он был обычным изнеженным бароном – наверное, таким же, как и я. Но, переодевшись и изменив внешность, он скакал на коне, дрался на шпагах и совершал умопомрачительные подвиги, оставляя каждый раз на месте событий свой условный знак – рисунок маленького красного цветка...

Все детство я провел, как в коконе, в замкнутом мирке замка Ранси, населенном моими братьями и сестрами, пастухом, конюхом, немногословным шофером нашего вполне антикварного «рено» и служанкой, – мы делили стол с работниками, потому что в трапезную к родительскому столу

нас по старинному обычаю не допускали. Окажись я среди непуганых сверстников в ближайшей деревеньке, увлекись я их простецкими играми, мне, может быть, было бы дано еще раньше позабыть о «голубой крови» и непонятной значимости всех этих дворянских приставок к имени. Но о деревенских знакомствах нечего было и думать, а кухонные «светские игры» с братьями в родословную семьи со звонкими для чужого уха «де» и «ла» никого из нас не увлекали, кроме разве что конюха, слышавшего от хозяина, что один из наших далеких предков был вознесен до чина королевского конюшего... Подумать только: если б голубая кровь в действительности бежала по нашим венам, это было бы оценено сегодня как несомненная патология, возможно и летальная.

Дворянское потомство, включая и королевских отпрысков, по ходу истории отнюдь не уменьшается, а, напротив, разрастается и расширяется. И мне ни разу не приходилось слышать, что инсульт был вызван приливом к мозгу голубой крови – только расхожей красной. Это, похоже, непреложный факт, один из столь немногих в нашей жизни!

Как-то раз мне пришло в голову, что, судя по кропотливым исследованиям научных специалистов, наследники Чингисхана расплодились в масштабах совершенно гигантских: их нынче насчитываются миллионы. Что ж, это возможно – тут все зависит от сексуальной бодрости и нахрапистости действующих лиц. Сам старик Чингисхан, ни в чем не уступавший нашим голубокровным императорам, может

быть вполне обоснованно назван первым монгольским дворянином, со всеми вытекающими из этого социального статуса обязанностями. Овладение женами и избранными наложницами поверженных владык входило в эти обременительные, но в то же время и приятные обязанности. Сойдя с коня, монгол приступал к делу, до которого к тому же был весьма охоч. Такая охота, говорят, и свела его в могилу: воспользовавшись собственным волосом как бритвой, очередная красавица, отличавшаяся коварством, оскопила утратившего ненадолго бдительность Повелителя Вселенной и он истек кровью. Кого-нибудь из наших веселых королей вполне могла бы постичь такая же незадача, но по воле случая этого не произошло. Так или иначе, потомки Чингисхана все до единого из миллионного моря такие же дворяне, как и я. Смешно? Не уверен...

Конечно, антагонизм между высокородными дворянами и худородными простолюдинами нынче не так глубок, как прежде; это видно и без очков. И все же он до конца не изжит, несмотря на приход новых времен и новых обстоятельств жизни: дворянское семя повсеместно пользуется незаслуженным авторитетом в глазах широкой публики. Это, конечно, своеобразная игра в бисер, как и всё или почти всё в нашем мире, и эта самая игра в бисер несколько искривляет реальное восприятие окружающего. Один персонаж выше другого не по чину, а по рождению – какая наивная чепуха! Я знаю средство для исправления создавше-

гося положения: всех поголовно землян повысить в статусе и законодательно перевести их в дворянское сословие. Всех без исключения: эскимосов, сидящих во льду, людоедов из тропических дебрей и голодных африканских собирателей, грабящих соты диких пчел и питающихся медом вместо хлеба. Все станут дворянами, получают справку с печатью, и досадное неравенство исчезнет без следа! А пока этого не произошло, графы, бароны и особенно князья пользуются повышенным уважением земляков и препятствуют поступательному развитию общества.

В одних странах дворян сохранилось побольше, в других – поменьше, а в третьих их нет совсем. В Советской России, например, после революции большевики отменили и запретили дворянское сословие, дворян пересажали, а то и расстреляли, а чудом уцелевшие притаились и сидят тихо, как мышки в норке. А рядом, на Кавказе, принадлежность к княжеским корням, часто мифическая, служит знаком несомненного признания, как у нас во Франции розетка Почетного легиона в петлице.

Итак, память переносит меня в родовое Ранси, куда мы перебрались поближе к лету с парижской улицы Бом. Папа с мамой, братья с сестрами, конюх со служанкой – вот и весь мой круг общения. К нему можно добавить деревья и кусты вокруг замка, тройку понурых от безделья лошадей, на которых никто никуда не ездил, коров на далеком пастбище, лес на горизонте и, наконец, небо с беззаботными птицами

над головой. Простор вокруг Ранси, насколько хватало глаз, был пустынен и чист – ни соседских замков, ни поместий. Это обстоятельство душевно радовало моего отца, барона: не возникало нужды принимать кого-то у себя или ездить к кому-то в гости.

Любил ли я свое окружение? Праздный вопрос: конечно нет! Пятеро братьев и сестер – я был младшим, двое из нас умерли в младенчестве – видели во мне малька-недоумка и держались от меня в стороне. К служанке и конюху я привык, как к предметам кухонной мебели – столу или скамье; они не пробуждали во мне интереса. К родителям, а они появлялись в поле моего зрения нечасто – мама без теплых лишних слов, а отец с суровыми укорами или артиллерийскими назиданиями на устах, – я инстинктивно испытывал любовь, но то была любовь с ужасом пополам. Явление родителей я невольно уподоблял встрече со сказочным волшебником, который неизвестно что задумал – хорошее или дурное. С этим колдуном, как, впрочем, и с родителями, нечего было и думать завести разговор о том жарком смущении, которое меня накрыло волной, когда я почти случайно увидел нашу голую служанку, плескавшуюся и мывшуюся под водяной струей в каморке за кухней. С конюхом можно было делиться своими наблюдениями – но в ответ на доверие он лишь хитро ухмылялся да потирал руки. Вот и доверяйся после этого людям...

А я и не доверялся. С кем действительно мог я заводить доверительные разговоры и кому мог ставить разведочные

вопросы, такие острые для моего тогдашнего нежного возраста? Разве что птицам небесным. Или Богу. Ставить без всякой надежды получить ответ и, таким образом, загодя сводя захватывающий обмен мнениями к монологу. Весь груз накопивших и назревших детских проблем я загонял в себя, они во мне кипели и бурлили в поисках выхода, которого не было. Ничего мне не оставалось, кроме как переключивать их в золотистом свете души с места на место, с полочки на полочку, тщательно сортируя по оттенку и форме. И это была своего рода игра, та самая игра в бисер, со всех сторон меня окружавшая. Игра – но не тупик, в котором маленького путника ждет удар лбом об стену: от нервного срыва меня оберегала экспансивность моего неустоявшегося характера, эмоциональность, сопутствующая мне всю мою жизнь вплоть до этих дней.

Моих родителей, в особенности отца, эти качества настораживали: среди аристократов они были не в чести. Равно как и моя склонность к непомерному росту – принадлежность к знати традиционно диктовала рост средний, рот и особенно уши – маленькие. Эта странная особенность тянулась, возможно, от ветхих старых времен, когда люди были мельче, чем ныне. Так или иначе, мама, улавливавшая настроения людей куда более чутко, чем отец, мои несвоевременные порывы к представительницам оппозиционного пола разглядела, как будто я изложил их письменно на линованной страничке ученической тетради. Но дальше этого де-

ло не пошло: обсуждать совершенно запретную детородную тему с нескладным сыном было столь же непредставимо, как подняться в райские кущи по садовой стремянке. Безутешно вздыхая, мама поглядывала на меня озабоченно, но рта для произнесения слов ничуть не открывала.

Среди своих (а других, собственно, у меня поначалу и не было) меня называли не полным моим именем Эммануэль, а сокращенно – Манэ. Это милое фамильярное обращение прилепилось ко мне и приклеилось и держалось до самого начала гитлеровского вторжения во Францию, до сорокового года, когда по законам конспирации я принял боевой оперативный псевдоним. Но от нацистской оккупации нас отделило три десятка лет, и отец, демобилизовавшись из армии и покончив с артиллерийским прошлым, нашел себя, к тихому удивлению мамы, в командовании хозяйством имения Ранси. Крестьянское это хозяйство, жившее по старинке, не лежало бременем на плечах нашей семьи, а, напротив, даже приносило небольшой доход. Распрощавшись с армией, отец всю освободившуюся энергию решил посвятить хозяйственной реформе, действуя с солдатской сноровкой и офицерской прямоотой. Изучив положение вещей на дочерних фермах с их коровами, свиньями и козами, он вложил ради увеличения нашей семейной прибыли большую часть семейного дохода в российские облигации, которые после захвата власти в России большевиками превратились в никчемные бумажки без покрытия и залоговой ценности. Десятки тысяч

французских обладателей русских облигаций дружно проклинали большевистскую Россию с Лениным во главе. Без притока свежих денег хозяйственная реформа, задуманная отцом, начала пробуксовывать; наши арендаторы и издольщики разочаровались в господской затее, и стратегический план папá, достойный маршала Франции с жезлом в руке, в скором времени привел семью на порог полного разорения.

На порог, но не в черную пропасть, разверзшуюся за порогом. До десяти лет жизнь моя тихо текла меж замком Ранси и просторной парижской квартирой на улице Курсель – там всем нам с лихвой хватало места, не в пример тесному жилищу на улице Бом, где я появился на свет.

Религия, властно распростершая крылья над нашей благочестивой семьей, не могла не тиснуть свою печать на мое унылое существование. Мистика древнехристианских историй меня манила и влекла, и я, через силу сдерживая душевный трепет, воображал себя на месте отважных библейских героев, окруженных враждебной иудейской толпой. Я на свой страх и риск своенравно и дерзко действовал, продолжая деяния Христовых учеников. С кинжалом в руке подстерегал я Понтия Пилата и набрасывался на него из засады. Более того, самого Иисуса спасал от его всепобеждающей смерти на кресте... Такое кошмарное вольнодумство, разумеется, я хранил в глубочайшей тайне и своими грешными видениями ни с кем не делился.

Все эти опасные приключения происходили со мной в

еврейском столичном городе Иерусалиме, жители которого смотрели на меня, отважного правдоискателя, как волк лесной на кролика. Они бы и растерзали меня, эти евреи, если бы смогли, – но я не давался им в руки. Все они были коварны, и алчны, и неисправимы в своих вредоносных заблуждениях. Мало того, слепо и упрямо настаивали они на предании Иисуса лютой смерти. «Распни его!» – уговаривали они Пилата, умывающего руки. Само собою разумеется, что отношение мое к евреям, как у большинства моих сверстников, а также у многих вполне зрелых сограждан, складывалось сугубо негативное. А как могло быть иначе?! Они Христа продали и погубили, учеников его замордовали, добрались до Франции и ставят своей целью захватить наши капиталы, влияние и власть – положение нетерпимое, родина в опасности. Одним словом – «К оружию, граждане!»

Тут для правдивости картины необходимо оговориться: в Ранси и на улице Курсель до десяти примерно лет я живою еврея, а тем более покойника, в глаза не видал и судил о них по антисемитским карикатурам: нос крючком, глаза навывкат, за спиной мешок с награбленными франками. Содержимое мешка может меняться: франки на марки, марки на доллары – но суть рисунка остается неизменной в любой стране, где живут евреи, а значит, существует и антисемитизм.

С еврейскими «хриstopродавцами» я встретился и тесно общался годы спустя в рядах французского Сопротивления.

Мы там сражались плечом к плечу за освобождение нашей родины от нацизма. Немало лет понадобилось, немало воды пополам с кровью моих боевых товарищей утекло в наших реках, пока я освободился от паучьих силков антисемитизма. Как видно, всему свое время под солнцем; древний иудей Екклесиаст не ошибся и в этом.

А теперь смело вернемся на тридцать лет назад. Кто из добрых людей рискнет утверждать, что наша жизнь непрерывно и размеренно, без пробелов и скачков взад-вперед, складывается, как якорная цепь из своих звеньев? К одним мы с любовью возвращаемся раз за разом, другие без следа выветриваются из памяти. И то, что педанту и сухарю показалось бы беспорядком, в действительности и есть ход нашей жизни: влево-вправо, с камушка на камушек, с кочки на кочку. Щурясь от солнца, с беспокойством глядим в будущее, а на сглаженных картинах прошлого, за плечом, глаза отдыхают. И в бессонном сознании всплывает вопрос: а случилось ли прошлое? А будущее – случится ли? Или все на свете – вообразенная реальность и иллюзия текущего времени, мериллом которого служат придуманные людьми часовые стрелки, эти тараканьи усы на циферблате пространства, а без него, как утверждает с пеною у рта другой проницательный еврей Альберт Эйнштейн, время не существует вовсе? Действителен ли мир за окном? И действительны ли мы в мире?

Как бы то ни было, первое причастие я прошел по всем правилам, хотя свойственный мне дух противоречия не да-

вал прочувствовать сполна, что я вкушаю от тела Христова, а не грызу пресную вафлю. Символика, увы, никогда не была моим коньком. А исповедуясь впервые в жизни, я решил немного сэкономить на правде: утаил от священника, что утром, чистя зубы, проглотил ненароком немного воды – а ведь надо было держать строгий пост. Я, стало быть, согрешил дважды: выпил воды и не признался в этом исповеднику. Кара, казалось, была неизбежна, она кралась за мной по пятам, но так и не закогтила.

Относя воспитание детей к святому отцовскому долгу, меня не спешили отдавать в школу, предпочитая домашнее начальное образование – отец сам учил меня французскому, латыни и математике, в которой благодаря своему богатому артиллерийскому навыку был настоящим докой. Но всему приходит свое время, хотя оно и несколько расплывчато на бездонном фоне Вечности; и я был отправлен в лицей Кондорсе – один из лучших, а то и самый лучший из парижских, а значит, и всех французских лицеев. И то: среди его выпускников сверкали звезды первой величины – братья Гонкур, Поль Верлен, Марсель Пруст, Жан Кокто, Тулуз-Лотрек и Жан Шарко, Луи Рено и Андре Ситроен. Это уже не говоря о таких кумирах публики, как Луи де Фюнес и Жан Маре.

Домашняя отцовская подготовка оказалась весьма эффективной – меня приняли сразу в третий класс лицея. Среди новых друзей-приятелей я был раскован и счастлив.

Замкнутое детство в замке Ранси закончилось. Будь здо-

ров, лукавый конюх, прощай, простодушная служанка! Начиналось парижское отрочество, полное новизны, соблазнов и искушений.

## 2. Время соблазнов и искушений

Вот ведь что характерно: ни один из преподавателей лицея не охарактеризовал меня как хорошего или плохого ученика. Все они, без исключения, сходились во мнении, что я «способен на большее», «расхлябан», «усерден», «знания подхватываю на лету», «слишком молод, чтобы стать образцовым», «одарен», «вдумчив, но недостаточно зрел» и, наконец, «со временем могу стать очень хорошим».

Наверно, так оно и было. Мои наставники не ошибались в оценках – я не принадлежал к разряду зубрил, учился легко и, возвращаясь ночевать домой, на улицу Курсель, брался за книги: зачитанного до дыр Дюма, таинственного Мери-ме, неповторимого Рабле, запретного в Ранси Мопассана, от чтения которого поднимается температура тела.

За стенами лицея бурлил и благоденствовал под безоблачным небом Париж, бродили по бульварам влюбленные пары, крутились крылья мельницы над кабаре «Мулен Руж», а Пигаль была полна девушками облегченного поведения, как будто эти сладкие запретные плоды само небо щедрой рукою высыпало из рога изобилия на бессонную площадь. О близкой войне никто и не помышлял: какая война? с кем? чего ради? Парижане не желали входить в подробности международных отношений и углубляться в темные закоулки геополитики. Рдело вино на столиках кофеен и быстро, золоти-

лось и пузырилось шампанское. Мир на земле казался устойчивым и фундаментальным, никто не воспринимал его лишь как передышку между войнами. В борьбе за мир общество охотно разглядело бы борьбу безумцев с ветряными мельницами.

Выстрел в Сараево, отправивший на тот свет австрийского эрцгерцога Фердинанда, а заодно и его жену, не потряс Париж: никто не мог предположить, что теракт, осуществленный Гаврилой Принципом, фанатичным сербским боевиком с изъеденными туберкулезом легкими, приведет к гибели десяти миллионов солдат на полях войны, приблизившейся вплотную. Где Сараево и где Париж! Нечего паниковать, дамы и господа.

Но Россия вступилась за сербов, немцы объявили войну непрошеной защитнице, а потом и ее союзнице Франции, к горлу которой можно было дотянуться через Бельгию. И пошло-поехало...

Война! Немцы уверенно продвигались вперед, и парижане наконец-то пробудились от приятного сна жизни. Фронтные сводки, полные, как положено, лжи и уверток, звучали в диссонанс бодрым песням и танцевальной музыке мировой столицы. Но немцы наступали, это было неоспоримо! В Кондорсе лицеисты, собираясь в пустых классах, азартно обсуждали военные новости пополам со слухами о предстоящей эвакуации Парижа. Злость к немцам, нарушившим мирную тишину существования, росла как тесто на дрожжах. Моло-

дежь кипела гневом, самые решительные желали немедленно отправиться на войну и хорошенько проучить бошей. Но стать солдатом и получить в руки винтовку возможно было лишь по достижении двадцатилетнего возраста. Это ограничение, впрочем, не сдерживало патриотические порывы молодежи, а лишь распаляло их.

Мне, в мои четырнадцать лет, нечего было и думать о поступлении в армию: мой каланчовый рост и большие уши никого бы не обманули. Моим братьям повезло больше: Анри, едва достигнув призывного возраста, сразу записался на фронт; старший, Франсуа, еще до войны окончивший академическое военное училище Сен-Сир по кавалерийской части, после непродолжительного раздумья решил кардинально поменять направление армейской карьеры и посвятить себя новорожденной авиации. Его дети, мои племянники Жан-Анне и Бертранда, в начале 40-х служили под моим началом в нарождавшемся тогда движении Сопротивления на юге Франции, а с самим Франсуа, к обоюдной радости, я встретился, совершенно случайно, в смертельно опасной боевой ситуации: брат уже вторую войну отважно воевал за освобождение родины. Но все это случится впереди, впереди, спустя время! А пока что моя семья вела себя достойно в условиях военного времени, и даже семидесятилетний папá, не колеблясь, решил вернуться в строй и был направлен в Версаль командовать гарнизоном. Один я очутился за бортом военно-патриотических событий и был неформаль-

но причислен к рядовым необученным солдатам «второй тыловой линии». Что это такое, никто толком не знал, но сама эфемерная принадлежность к солдатам хоть второй, хоть двадцать второй линии внушала нам чувство востребованности в борьбе с оккупантами. И это было лучше, чем ничего.

В самый разгар панических слухов о приближении немцев мы с моей сестрой Луизой эвакуировались из Парижа в центр страны, в Бурж. Там от украшенного пышной ассирийской бородой мэра я и узнал, что солдаты тыловой линии очень необходимы в Бурже: мы будем помогать сиделкам в госпитале для раненных на фронте, раздавать конфетки детям и старикам и делать другие добрые дела. Именно добрые дела, а не стрельба и кинжальные ночные вылазки непременно приблизят, по словам мэра, человека сугубо штатского, нашу военную победу. Хотелось бы в это верить, сидя в тылу, в долине Луары.

Бурж не только центр и не только тыл. Бурж – сердце Франции и ее душа. Символично, что именно здесь я очутился в дни всеобщей паники, растерянности и страха перед будущим. Париж под угрозой захвата врагом и оккупации – что может быть страшней! Но Бурж с его великолепным старинным собором, с его каменными площадями – свидетельницами нашего славного национального прошлого – выпрямлял согнувшегося человека, освобождал от преждевременной печали и дурных предчувствий. Бурж, как и встарь,

звал французов к борьбе и победе, а не к отступлению и проигрышу.

В Бурже я получил нарукавную повязку – красный крест на белом фоне. Казалось бы, большое дело – нарукавная повязка! Не ружье, не граната – кусок тряпки с красным крестом. И вот эта грошовая опознавательная повязка делала из штатского оболтуса, беженца существо более высокого порядка – тылового солдата, причастного к общенациональным усилиям в борьбе с врагом. Так бывает – пустой знак, деталь одежды, искривляет и без того ирреальную действительность в лучшую или худшую сторону, и люди без раздумий воспринимают это изменение как должное.

На железнодорожной станции мы встречали раненых, провожали их в госпиталь, играли с ними в карты и домино. Глядя на культы и кровавые бинты, мы чувствовали себя почти как на фронте, в окопах, под огнем. И раненые смотрели на нас, с нашими повязками, как на спасителей, облегчающих страдания; через несколько дней после начала больничной работы нам и страдальцам уже не хватало друг друга. Даже увидев своими глазами в госпитальном корпусе жуткие последствия фронта, я не боялся войны. Под опекой мэра с ассирийской бородой, в кругу подростков-белоповязочников меня тянуло оставаться самим собой и не плыть спокойно по течению тылового бытия «второй линии». Иногда по вечерам я пытался описать разнообразие события минув-

шего дня и даже заносил наброски в блокнот, но дальше этого дело не шло. Весь мир в моих глазах представлял зыбким и иллюзорным, кроме одной-единственной реалии – войны. Я хотел на войну.

Но хотеть – это еще не значит мочь. С этой максимой трудно смириться, но и игнорировать ее бессмысленно. Вместо фронтовой полосы я, как только боевая обстановка стабилизировалась и немцы больше не угрожали Парижу, был отправлен из Буржа в Версаль и определен в иезуитский лицей Святой Женевиевы для продолжения учебных занятий. Война меж тем продолжалась, перетекая в фазу застывшего окопного сидения под артиллерийским огнем и облаками ядовитых газов; десятки тысяч солдат «первой линии» покорно гибли от ранений и болезней.

А школьные занятия шли своим чередом, разве что учителя стали менее придирчивы, а ученики, зараженные бациллой военного разгильдяйства, – менее усидчивы. Я много читал, особый мой интерес, в соответствии с законами возраста, вызывали книжки с откровенными любовными сценами. Я жаждал любви, черт побери! Светлой, но вместе с тем и непременно чувственной. Слоняясь по улицам, я довольно-таки бесцеремонно заглядывал в лица встречных девиц и дам и строил авантюрные планы, один другого волшебней. Все тут было: ночные свидания и нежные признания... Такие пылкие картины немало меня изнуряли.

И вот гром грянул: я зашел от нечего делать в универ-

маг, увидел продавщицу за прилавком и влюбился. С первого взгляда, с ног и по уши! Такого со мной еще никогда не приключалось – голова шла кругом, страсть облизывала меня и опаляла, как языки пламени корчащегося на костре грешника. Продавщица глядела на меня с доброжелательным любопытством. На ватных ногах я доплелся до прилавка, проблеял пустые слова приветствия и представился: «Эммануэль д’Астье».

Ее звали Марта. И были свидания, и были признания. После первых же объятий и бездонных поцелуев, далее которых дело не двинулось, я как честный молодой влюбленный предложил девушке руку и сердце. И Марта ответила мне согласиём. Так мы стали, в собственных глазах, женихом и невестой. Свидания и объятия продолжались, мои восторженные руки без усталости бродили по заповедным уголкам разгоряченного тела Марты – и тут бы ей проявить девичью инициативу, но она почему-то этого не делала. Может, она в душе была ревностной католичкой и считала, что ее тело – храм, войти в который мне будет дозволено лишь после брачной церемонии... Не знаю, что она там считала, мне было не до расспросов.

Наша любовь была роскошно декорирована садами Версаля. Бродя по их аллеям, мы чувствовали себя отважными героями романов Дюма, которых не за горами ждало великое и славное будущее. Да что там литературные герои! На фоне великолепного паркового ландшафта, этого почти

неправдоподобного творения «короля садовников, садовника королей» Ленотра, застенчивая до слез Марта вольно воображала себя любимой фавориткой Людовика Четырнадцатого, а я, заведя мою продавщицу в укромный грот, усадив ее к себе на колени и дав волю рукам, смело ощущал себя хозяином грота, и фонтанов, и дворца – самим королем.

Я жил, словно в сладком тумане, совершенно ирреальном. Да и Марта в том тумане была не более чем иллюзией – до той, во всяком случае, поры, пока она не проявит в конце концов этой самой отважной инициативы, распахнет двери храма и даст мне почувствовать, что на вершине доступного нам мгновенного блаженства наше Время утрачивает очертания, рассыпается в прах и воссоединяется с Вечностью.

Не знаю, не знаю... Слухи вместе с нами бродили по садам и улицам Версаля, иногда они даже опережали нас, и мы вприпрыжку бежали за ними следом. Они мне не мешали – от счастья я был на седьмом небе, иллюзорном, впрочем, вдоль и поперек, снизу доверху, как и все остальное в нашем мире. Все, кроме, как я уже отметил, войны.

Слухи не признают границ, не знают ни стен, ни замков – они, пожалуй, наиболее свободное явление в человеческом обществе с его куцей свободой, выдаваемой за новейшее достижение цивилизации. Слухи беспрепятственно просочились и в армейскую комендатуру, и я был незамедлительно вызван на ковер к начальнику гарнизона майору Раулю д'Астье, моему отцу. Отец начал разговор по-военному строго

и безапелляционно.

– Мне все известно, – сказал майор. – Я приказываю тебе немедленно расстаться с этой торговкой.

– Но я пообещал на ней жениться! – привел я аргумент в свою пользу.

– Это ты сам придумал жениться? – спросил майор. – Или она вымогала предложение и обдурила тебя?

– Сам, – признал я.

– Ну раз сам придумал, – решил майор, – сам и передумаешь.

– Я ее люблю! – не смирился я.

– Любить, – посуровел барон, – это знать. Что ты знаешь о торговке, Эммануэль?

– Всё! – сказал я.

– Комиссар полиции доложил мне, – сказал начальник гарнизона, – что она на десять лет старше тебя, что мать ее пьяница, а отец бросил семью и скрывается неизвестно где. Она тебе про это рассказывала?

– Нет, – сказал я. – Мы говорили о других вещах.

– Я женился в двадцать семь, – продолжал отец, пропуская мимо ушей мои возражения, – а тебе нет и семнадцати. Прежде чем идти под венец, я навел о невесте, графине Монталиве, необходимые справки. И наша жизнь, как тебе известно, сложилась счастливо.

– Но... – попытался я занять линию обороны.

– Никаких «но»! – отрубил майор. – Дело решено! Если

ты вздумаешь вилять, торговку выгонят с работы и выселят из города. Ясно?

Вот тебе и свобода воли, вот тебе и цивилизация.

– Я хотя бы должен объяснить Марте, что случилось, – выдавил я из горла режущие, как битое стекло, слова. – Нам нужно встретиться. Это дело чести.

– Разрешаю! – сказал начальник гарнизона.

Наша встреча была полита слезами. Мы договорились видеться впредь по воскресеньям в маленькой церквушке, вдали от любопытных глаз.

– Мой отец старый человек, – утешал я подавленную ужасными новостями Марту. – Как только он умрет, мы обязательно поженимся.

Но такая размытая перспектива, вместе с моими утешениями, отнюдь не радовала влюбленную Марту. Она вполне допускала, что мой отец, барон, окажется долгожителем, и, таким образом, наш брак переместится из неопределенной перспективы в определенно долгосрочную. Чему ж тут было радоваться?

«Время – лучший врач» – это чистая правда, не в обиду будет сказано последователям Гиппократу. Время осушает слезы горя, лечит тело и душу. Может быть, на этом стоит мир – хотя бы одной ногой... Во всяком случае, воскресные походы в церковь на тайные свидания с Мартой становились все менее регулярными. Весной я поехал навестить свою сестру в Нормандию и там, на побережье, на песчаном

пляже, вдруг открыл, что вокруг меня существуют и другие девушки, помимо моей торговки с ее неприступным храмом, и что многие весенние барышни ни в чем не уступают Марте, оставшейся в Версале, а некоторые даже превосходят ее кое в чем. Это открытие освободило меня от сладкого груза недавнего прошлого и восторженных клятв, и я, правду говоря, с облегчением сбросил путы воспоминаний. Прощай, Марта! Спасибо за любовь! Я запомню тебя навсегда, если только не забуду.

Отец из своего штабного кабинета зорко наблюдал за моим повзрослением. Продолжалась война, вся семья должна была возложить свои дары к алтарю отечества. Франсуа летал, подобно ястребу, в грозовых облаках сражений, Анри продвигался по пехотной части, не говоря уже о нашем престарелом отце, принявшем под свою команду версальский гарнизон. Один я, переступив семнадцатилетний рубеж, еще не определился, не поменял партикулярную одежду на военную форму и не привел буйную штатскую прическу в соответствие с солдатскими требованиями. Отец не намерен был долго терпеть такое нарушение семейных традиций, да я и сам тяготился создавшейся ситуацией. Живость характера и неодолимая тяга к новым впечатлениям не давали мне пойти по проторенным следам Франсуа и Анри. Получив одобрение отца, я решил посвятить себя службе в военно-морском флоте, где один лишь Жан Эдмон-Эдуард – наш брат-первенец, умерший от болезни двадцати четырех лет от ро-

ду, – дослужился до офицерского звания в самом начале века. Больше никто из д'Астье – со времени спуска на воду первого французского корабля и появления нашей семьи в аналах истории – близко к морю не подходил. Этот пробел в семейной летописи, который необходимо было восполнить, неописуемо меня увлекал – я видел себя на капитанском мостике боевого фрегата, у штурвала, с подозрительной трубой в руке. Так я заменяю на флоте моего покойного брата и как бы верну его к жизни.

Значит, Военно-морская академия, выпускающая морских офицеров! Вход в нее для абитуриентов, желающих посвятить себя увлекательной и опасной морской жизни, ограничивали строгие вступительные экзамены с уклоном в математическую науку. Не такие строгие, как до начала войны, когда запросы флота в свежей крови не были столь остры, но и сейчас достаточно требовательные: приобщение к миру моря оплачивалось знанием точных наук и их малопонятных законов. Эти знания должны были гарантированно обеспечить высокий профессиональный уровень флотских офицеров. Такой взвешенный подход вызывал во мне изрядные сомнения, но ради достижения заветной цели я, прирожденный гуманитарий, готов был с головой погрузиться в изучение точных наук. Бросив вызов вялотекущему времени, я решил, оставаясь в глухих стенах лицея Святой Женевьевы, осилить подготовительный курс для поступления в Морскую академию не за два отведенных на это в обычных условиях

года, а вдвое быстрее – за год. Не отдавая себе в этом отчета, я спешил жить. Я, строго говоря, всю жизнь спешил заглянуть за ближайший поворот.

В математике, еще с Буржа подспудно подумывавший о литературной карьере, я был откровенно слаб. Но, Боже милостивый! Если другие могут осилить этот редут, смогу и я. Время, окружавшее меня, как кокон, из которого не выбраться, сжалось и наполнилось формулами и цифрами. Они составляли мою жизнь, ограничивали кругозор. Они принуждали мыслить абстрактно, и я не уставал благодарить судьбу за то, что с малых лет был не чужд абстрактному воображению: со времен Ранси находил мир в ирреальном освещении. И теперь, сидя за учебниками, мне не приходилось изумляться холодной абстрактной мощи математических формул. Они вписывались в неординарную систему моего восприятия мира... В таком плавном движении неделя шла за неделей, месяц за месяцем.

Все имеющее начало приходит к концу. Закончилось и мое форсированное наступление на науку, и просьба о приеме в школу морских офицеров вместе с результатом предварительной учебной проверки была отправлена. Оставалось ждать решения приемной комиссии.

Нет ничего тягостней ожидания – будь то немое сидение в военной засаде, ожидание чуда или ожидание Годо. Но и ожиданию решения комиссии, как всему на белом свете, пришел конец – я был принят. Надо признать, что моя при-

надлежность к высокой дворянской знати сыграла здесь не последнюю роль: флот традиционно проявлял слабость к выходцам из аристократических семей.

Отец, к которому я поспешил с новостью, был доволен. Выслушав мой рассказ и задав несколько уточняющих вопросов, он поднялся из-за стола, открыл сейф, достал оттуда переходивший из поколения в поколение золотой перстень с выгравированным на нем гербом семьи д'Астье и надел его мне на безымянный палец левой руки.

### 3. Мир моря

Морские офицеры, ведущие, как собачек на поводке, бронированные громады по морям и океанам, – элита армии, гордость нации. Слабакам здесь не место, спаянное офицерское братство отторгает их, как ненужный балласт... Так я рассуждал, широко шагая по брусчатке Брестского порта к Военно-морской академии, где мне предстояло начать новую жизнь с чистой страницы, на которой не было отведено места ни для стихов, ни для зарисовок. И тем не менее я не собирался расставаться с верной записной книжкой, уверенно лежавшей в глубоком кармане моей куртки: служба службой, а тяга к писательству останется при мне.

Брестский порт – лицо нашей военно-морской мощи, с которой разве что британцы могли сравниться! Проницательный Ришелье предвидел славное будущее Бреста и способствовал всяческому укреплению головной стоянки нашего флота. Так уж сложилось и повелось, что флотский офицерский корпус укомплектовывался патриотически настроенными, отлично подготовленными молодыми людьми завидного социального уровня. Принадлежность к морским офицерам гарантировала высокое положение в военной иерархии. О поступлении в брестскую Военно-морскую академию мечтали многие, и это была задача не из легких: от абитуриентов требовались обширные и глубокие знания. И вот при-

шел мой день: за порогом лица меня ждала новая жизнь.

Собственно говоря, новую жизнь мы начинаем каждое утро, и всякий раз с чистого листа – вчерашний день остается позади, его засасывают зыбучие пески прошлого. Уверенно шагая, я поглядывал на хмурые дредноуты в гавани и испытывал к ним невольное почтение – они имели устрашающий вид, легкомысленные замечания на их счет были бы неуместны. Головная база военного флота Брест самым своим видом внушала новичку серьезность и строевую подтянутость мысли. И абстрактные рассуждения о ежеутреннем обновлении и зыбучих песках я старательно от себя отводил. Не пески теперь должны были волновать мое воображение, а волны.

Я приехал в Брест накануне, вчера в обед, и в ожидании завтрашней явки в училище испытал настойчивую потребность провести ощутимую грань между нынешней гражданской жизнью и предстоящей военно-морской. Выкопать крепостной ров, например, или построить разделительную стену – что-нибудь! Чтоб запомнилось и осталось! Бесцельно побродив по городу, я зашел в портовый бар.

В баре стоял столбом табачный дым и висел литой гул голосов. Радуюсь соседству подгулявших моряков и портовых забулдыг, я заказал вина и, не успев еще пригубить толком, обнаружил рядом с собою девушку, без вступлений протянувшую мне сигарету. Попросив бокал для доброй девушки, я закурил, и скверный табак обволок мне горло. Я закаш-

лялся и рассмеялся сквозь проступившие слезы, и девушка сочувственно засмеялась мне в ответ. В полутьме бара она казалась мне чудо какой привлекательной – габаритами напоминающей версальскую Марту, но не с карими, а с небесно-голубыми глазами, под одним из которых, левым, если не ошибаюсь, угадывался аккуратно замазанный гримом фингал. Может быть, девушка наткнулась ненароком на угол барной стойки. Все может быть.

После повторного бокала вина и рюмки анисовой в придачу я уже не сомневался в том, что моя новая подружка охотно ляжет редутом между моим неполноценным прошлым и сверкающим будущим. Ляжет – и без лишних слов наконец-то отворятся передо мной двери храма; я войду в него мальчиком, а выйду мужчиной, каковым и подобает быть курсанту французской Военно-морской академии. Завтрашнее утро будет отличаться от нынешнего вечера. Танцую в плотно сбитой толпе, мы прижимались друг к другу и обменивались приятными легкими словами. Ночь стояла за стенами кабака, и я гадал, куда бы нам отсюда пойти и найти уединение. Разместись мы под звездами – на лавочке или даже в придорожном бурьяне, – на нас мог бы наткнуться ночной патруль и мое завтрашнее посвящение в моряки оказалось бы под вопросом. Такой поворот событий я представлял себе со смущением и опаской, хотя отказываться от предстоящего мне открытия и не думал: пусть патруль, пусть арест! Но тут милая девушка, веселившаяся от души, рассеяла мои

сомнения: рядом с баром, в нескольких минутах ходьбы, у нее, сказала она, есть комнатенка, и там, несмотря на мой исключительный рост, мы разместимся без помех и проведем остаток ночи в собственное удовольствие.

И было торжество открытия, и был экстаз. И я выучил на всю жизнь, что бездонная звездная вечность, в клубах которой человек теряет рассудок, существует всюду – и в грязном закутке, и в хорах королевского замка.

После моего ночного круиза по волнам экстаза я явился в военно-морскую школу самодостаточным молодым мужчиной, готовым горы своротить. Да что там горы! Каторжное расписание занятий – с шести утра до десяти вечера – ничуть меня не пугает: выдержу, не согнусь! Теоретический курс – механика, астрономия, проектирование кораблей – чередуется с морской практикой: навигация, судовождение. Все правильно: новый мир открылся, по всем направлениям! И к вечеру голова раскалывается от перегрузок.

Но вслед за вечером приходит ночь, и голова очищается от тяжелого тумана и усталости: впереди часы портовых удовольствий, часы ночного веселья. Надзирающие офицеры сквозь пальцы смотрят на пустые казармы: самоволки не то чтобы поощряются, но и не рассматриваются как дезертирство.

Меня как магнитом тянет к этим приключениям. Через неделю-полторы после начала занятий я становлюсь своим

парнем в портовых кабаках, и мои товарищи-курсанты видят во мне заводилу. Заслуженно видят, надо добавить: блуждания ночи напролет по сомнительным барам, мимолетные знакомства с закаленными в битвах с крутой жизнью девицами, украшенными не только синяками, но и ножевыми шрамами, восполняют во мне те потери, которые я понес за годы моей растительной домашней жизни. Восполняют – и никак не восполняют: я продолжаю прекрасно безумствовать, и конца этому не видать.

Но всему, как мы уже успели убедиться, приходит конец. Пришел конец и моей морской учебе, и я получил офицерское звание прапорщика второго класса, соответствующее статусу лейтенанта в сухопутных войсках. Война с бошами к тому времени уже закончилась, и выпускников ожидала увлекательная кругосветка на одном из учебных крейсеров флота: в нашем новом, офицерском качестве мы будем командовать, управлять кораблем и прокладывать его курс.

Война кончилась, теперь можно было без горячки осмоторительно выявлять ее поджигателей и виновников всех бедствий нации – постигших ее невероятных потерь как в живой силе, так и в технике, не забывая при этом и о моральном ущербе. Виновных нашли, ими оказались чуждые патриотическим чувствам и алчные евреи по обе стороны границы – и у нас, и в Германии. В разреженной послевоенной атмосфере это утверждение было ясным и доходчивым; публика с готовностью его принимала. Закулисный враг был найден,

его местопребывание обнаружено. Я не остался в стороне от этого поветрия: евреи, по моему разумению, должны были полностью осознать вину в развязывании минувшей войны и в будущем, ради собственного блага, держаться тише воды, ниже травы. . . Еврейское благо не очень-то меня интересовало, я его рассматривал лишь в тесном сочетании с благополучием французов. Движение монархиста и националиста Шарля Морраса «Французское действие» с его настроением против евреев и бошей одновременно вполне соответствовало моим тогдашним представлениям о добре и зле. Ведь еще до войны мы, младшие лицеисты, с завистью смотрели на старших, которые распевали на улице задорную песню «королевских газетчиков» – продавцов газеты Морраса:

Это люди короля, мама!

Это люди короля!

Нам плевать на все законы, мама!

Содрогается земля!

Конец войны, несмотря на изолированность Военно-морской академии от мировых политических свершений, ознаменовался для меня тремя знаковыми событиями: захватом большевиками верховной власти в России, Брестским миром и решением лидера русских большевиков Ленина не погашать кредиты, взятые свергнутым царем на Западе. Русские политические передраги не слишком меня занимали по причине снежно-сибирской отдаленности России от прекрасной

Франции, а вот Брестский мир вызывал во мне ярость – замиряясь с немцами, русские беспардонно предавали нас, своих военных союзников. Что же до решения Ленина, при помощи немцев вернувшегося в мятежный Петроград, не платить долги по русским облигациям, то оно вообще прозвучало для французов как гром среди ясного неба: от нашего семейного состояния этот демарш главного большевика отрезал без малого половину.

Моих молодых однокашников мировые проблемы волновали, но не слишком: морской учебный поход в дальние страны в одночасье овладел нашими умами и душами, нас непреодолимо влекло в таинственные южные края с их своеобразным образом жизни и экзотическими портовыми приотонами, где поджидали заезжих гостей смуглокожие аборигены, у которых «все не так». Тайны этих смуглянок занимали далеко не последнее место в наших представлениях об увлекательном грядущем путешествии.

Сам поход сделался осуществимым благодаря победе над немцами – моря и океаны перестали нести угрозу военной смерти, путь был открыт. И мы были благодарны открывшейся возможности, а мирное политическое устройство – пусть с борьбой и жертвами – казалось многим из нас достижимым. Надо сказать, что я, несмотря на весь мой индивидуализм и независимость мышления, принадлежал, пожалуй, к этим многим.

Высшее флотское начальство предоставило нам для дол-

того плавания великолепное учебное судно «Жанна д'Арк», которое все мы фамильярно, как бы по-семейному, называли просто «Жанна». Командовать «Жанной» было поручено блестящему морскому офицеру, будущему адмиралу, Дарлану, с которым жизнь еще сведет если и не меня, то моих братьев в самых чрезвычайных обстоятельствах. Маршрут наш был просто умопомрачителен: Лиссабон и Мадейра, Бермуды, Нью-Йорк, Гавана, Новый Орлеан, Панама, Гваделупа, Мартиника, Кабо-Верде, Дакар, Канары, Гибралтар. От одних этих названий захватывало дух и кружилась голова! Ни в ком из нас не возникало сомнений, что только настоящим морским волкам, какими мы вскоре непременно станем, такое плавание по плечу.

Но человек предполагает, а Бог располагает. И кому предопределено стать львом пустыни – тот не станет морским волком, а иные и вообще остаются далеко за пределами животного мира, в лучшем случае они распевают бодрые песни, паря в небесах. 20 ноября «Жанна» отдала швартовы и вышла в открытое море навстречу штормам и приключениям, а уже через семь месяцев я заболел самой что ни на есть банальной корью и очутился в береговом госпитале в тунисской Бизерте. Через две недели меня поставили на ноги, но «Жанна» не планировала возвращаться в Тунис, и я был отправлен из Бизерты в Брест с попутным эсминцем.

Ошибается тот, кто считает, что увлечься опиумом евро-

пеец может лишь в юго-восточных портовых курильнях, в стороне от любопытных глаз. Вот уж наивное заблуждение! Белый опийный дымок равно оттачивает воображение и погружает курильщика в мир приятных грез как в китайском Шанхае, так и во французском Тулоне, где я впервые отдал бамбуковую трубочку, – и потом и не хотел, и не мог расстаться с ней двадцать лет. Дружба с «коричневым волшебником», которым можно было без хлопот разжиться в любом портовом баре французского побережья, не говоря уже о североафриканских притонах и дальше на юг, освобождала мне связанные общественными условностями руки, раскрепощала мысли, побуждала сочинять стихи и распахивала философские горизонты. Опий – природная маковая смола, древний дар, преподнесенный людям в начале времен! Возможно, и в Эдемском саду, под присмотром Адама и Евы, покачивались на сочных зеленых стеблях головки благородного белого мака. А почему бы и нет? Откуда нам знать?

Я не собираюсь никого уверять в том, что облако опийного дыма повисло над офицерским корпусом французского военно-морского флота. Но над половиной – да, повисло! Это – мое убеждение участника и свидетеля в одном лице, хотя я никогда в жизни не был специалистом в мире костлявых цифр, скорее – в мире разноцветных букв. После войны, в двадцатые годы – годы освобождения от чудовищных химер массового кровопролития и нелепой смерти, время несбыточных и несбывшихся надежд, – наркотики власт-

но завладели нашим избранным обществом, в особенности творческой его составляющей, но не ограничились ею. Наркоманы стали интегральной частью послевоенного человеческого пейзажа, довольно значительной; все это знали, никто против этого не собирался предостерегать или засучив рукава вступать с наркоманией в борьбу. После всего пережитого – беженства, страха и скудости – публика желала «оттянуться», хоть ненадолго, хоть краем глаза заглянуть в воображенный мир совершенного довольства и успокоения. Наркотики служили пропуском в этот мир. Кто бы укорил наркоманов за такое желание?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.